

Глава I ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ

Накануне теракта я с Ниной отправился в театр Картье д'Иври в предместье Парижа на «Двенадцатую ночь», пьесу Шекспира, которую я то ли не читал, то ли совсем забыл. Поставил ее друг Нины. Я не был с ним знаком и понятия не имел о его работах. Нина настояла, чтобы я пошел с ней. Она очень хотела познакомить двух своих любимых мужчин, режиссера и журналиста. Я с легким сердцем намеревался ничего не делать, ведь мне никто не заказывал статью о спектакле. Впрочем, это наилучший способ в конце концов что-нибудь написать, особенно когда находит вдохновение или пьеса приводит тебя в изумление. В таких случаях молодой человек, когда-то посещавший театр, встречает журналиста, которым он стал. После более или менее долгих раздумий, смущения, сближения первый передает второму свою непосредственность, неуверенность, целомудрие и покидает зал, чтобы другой, с авторучкой в руке, мог приступить к своей деятельности, к несчастью, на полном серьезе.

Я не специалист по театру, хотя я всегда любил туда ходить. Но я никогда не проводил в театре пять-шесть вечеров в неделю, а потому не могу считать себя компетентным критиком. Я прежде всего репортер. Критиком я стал случайно, а остался по

привычке или, может, по легкомыслию. Критика позволила мне размышлять — или пытаться размышлять — над увиденным и придавать ему эфемерную форму, излагая мысли на бумаге. Она — результат опыта, поверхностного (у меня не хватает ссылок, необходимых для подкрепления своего суждения о пьесах) и одновременно внутреннего (я не могу читать или смотреть что бы то ни было, не пропустив через сито образов, фантазий, ассоциативных смыслов, ничем не подтвержденных в окружающем меня мире). В тот день, когда я это понял, я почувствовал себя более свободно.

Помогает ли мне критика бороться с забывчивостью? Разумеется, нет. Я посмотрел немало спектаклей и прочел немало книг, которых уже не помню, даже если когда-то писал о них статьи, и это, без сомнения, потому, что они не пробудили во мне никаких образов, никаких искренних эмоций. Хуже того: я часто забываю то, о чем писал. Когда такая призрачная статья случайно всплывает на поверхность, мне всегда страшно, словно она написана кем-то другим, тем, кто узурпировал мое имя. Тогда я спрашиваю себя, а не писал ли я о том, что видел или читал лишь затем, чтобы как можно скорее забыть об этом, подобно людям, регулярно покупающим газету, чтобы ежедневно освобождать свою память от того, что уже осталось в прошлом. Я задавался этим вопросом как минимум до 7 января 2015.

Во время представления я вытащил блокнот. Последней записью, сделанной в тот вечер в темноте неровным почерком, стали слова Шекспира: «И вообще черное — это белое»*. Следом шли слова на

* Здесь и далее цит. из «Двенадцатой ночи» У. Шекспира приводятся в пер. Э. Линецкой.

испанском, написанные более крупными, но столь же кривыми буквами. Запись, сделанная через три дня в совсем другой, больничной темноте. Она адресована Габриэле, моей чилийской подруге, женщине, которую я любил: «Говорил с врачом. Год на восстановление. Терпение!» *Год на восстановление?* Когда вы попадаете в мир, где то, что есть, не может быть сказано правдиво, не слушайте, что вам говорят.

Я познакомился с Ниной года два назад. Мы встретились на каком-то торжестве, летом, в Любероне, в парке, окружавшем тамошний замок. Мне понадобилось время, чтобы понять, откуда взялась такая симпатия, которую она сразу мне внушила. Прирожденная посредница, деликатная и без ужимок. Она обладала той простотой, той нежностью, той теплотой, что побуждают знакомить незнакомых друзей, словно их достоинства от взаимного общения засверкают еще ярче. Такие искры ее грели, но она слишком скромна, чтобы ставить это себе в заслугу. Язвительная и доброжелательная, она всегда тушевалась, словно стеснительная мамаша. Когда я ее видел, я чувствовал себя птенцом, вылупившимся из ее яйца и вернувшимся в гнездо, откуда по неосторожности или по невнимательности выпал. Стоило начать с ней разговор, как печаль или тревога, мелькавшая в ее темном и живом взгляде, исчезали. Я не всегда достойно вел себя с ней. Она сердилась на меня, потом прекратила. В ней было больше великодушия, чем злопамятства.

Время от времени мы проводили вместе вечер, как в этот раз. Так как она оказалась той, кто последней разделила со мной минуты удовольствия и беззаботности, она стала для меня столь же до-

рога, как если бы я провел с ней всю жизнь — непрерывную жизнь, о которой теперь можно только мечтать, жизнь, остановившуюся в тот вечер в театре, где давали старика Шекспира. С тех пор я редко вижу Нину, но мне и не нужно ее видеть, чтобы знать, что она обо мне помнит, чувствовать, что она по-прежнему прикрывает меня своим крылом. Она обладает загадочной привилегией: быть подругой и воспоминанием — далекой подругой и живым воспоминанием. Я не боюсь забыть ее, и если она очень редко присутствует на страницах этой книги, то лишь потому, что, помимо этого вечера, мне тяжело вспоминать все, о чем она мне напоминает. Я думаю о ней, и воспоминания то оживают, то угасают, то одно за другим, то параллельно. Все это то ли сон, то ли преображение, а возможно, иллюзия, как в «Двенадцатой ночи». Нина — последнее видение на том берегу, возле входа на мост, взорванный терактом. Набрасывая ее портрет, я могу, сохраняя равновесие, немного постоять на руинах моста.

Нина — пухленькая брюнетка небольшого роста, с нежной кожей, орлиным носом и черными блестящими глазами, всегда смеющимися, ибо ее сильные эмоции всегда сдобрены юмором, словно она по доброте своей мирится с сумасбродствами других. Она юрист. Прекрасно готовит. Ничего не забывает. Поддерживает социалистов левого толка — такие еще остались. Трогательно напоминает упитанного и строгого дрозда. Живет вдвоем с дочерью Марианной, которой я отдал свою поперечную флейту, инструмент, на котором перестал играть, и, скорее всего, уже не буду играть никогда. Опыт отношений с мужчинами ее разочаровал, но не озлобил. Возможно, она считает, что полу-

чила от мужчин радости и любви ровно столько, сколько они могут дать, и теперь реализует себя в дружбе и в дочери, а состояние влюбленности, та условность, которую пытаются написать посредством тела, не является для нее необходимым. Возможно, как в политике, она постоянно чувствует разочарование, но ее жизнерадостная натура готова его преодолевать. Она не отрекается ни от своих чувств, ни тем более от своих убеждений. А так как левые постоянно обманывают народ, Нина в конечном счете, как и многие другие, встанет на сторону правых. Нина перестала влюбляться не потому, что многие мужчины являются ничтожными эгоистами и себялюбцами. Принципы подавляют чувствительность. Меня всегда восхищает, что она никуда не приходит с пустыми руками, а то, что она приносит, всегда соответствует ожиданиям или потребностям тех, к кому она пришла. Подводя итог, скажу, что она принимает других такими, какие они есть, и в тех ситуациях, в которых они находятся. Такого склада людей не часто встретишь.

Добавлю, что она еврейка и помнит об этом, а осознание своего еврейства незаметно, неуловимо напоминает ей, что никогда нельзя быть уверенной, что уберешься от катастрофы. Когда я вижу ее, когда мы разговариваем, я чувствую тревогу в ее улыбке, в ее взгляде, это упрощает существование, но мало у кого смотрится естественно, и я ей за это признателен. В воздухе всегда витает какой-нибудь еврейский анекдот, рассказанный между делом, словно аромат, о котором нет нужды напоминать. Не думаю, что в своей прошлой жизни мне доводилось встречать человека, более приспособленного к обстоятельствам.

Ее отец, специалист по американской литературе, прекрасно переводил Филиппа Рота, писателя, которого я любил, хотя ни разу не смог дочитать до конца ни одной его книги, за исключением «Наследия», где он пишет про болезнь и смерть своего отца, и тех книг, на которые мне приходилось писать рецензии, причем не слишком удачные — вероятно, потому, что я плохо понимал, что о них можно написать. Когда я видел Нину, я всегда представлял себе, как ее отец, с которым я не знаком, там, в Соединенных Штатах, среди зимних снегов или под палящим летним солнцем, переводит ту или иную книгу Рота, а перед ним стоит кофейник или пепельница, набитая окурками. Эта картина, без сомнения не соответствовавшая истине, меня взбадривала. Образ отца наслаивался на образ Нины, и я всегда пытался представить себе, до какой степени они похожи. Позднее она показала мне фотографию отца, сделанную, по-моему, в конце семидесятых: большая черная борода, длинные волосы, очки с затемненными стеклами. От него веяло воинственной энергией и анархистской разрядкой тех лет. В то время я был еще ребенком, но этот мир, казалось обещавший что-то другое, другую жизнь, исчез так быстро, что у меня не хватило времени ни опробовать его, ни отвергнуть. Эпоха, в которую я не жил, но сохранил о ней память.

В тот вечер, когда мы пошли в театр, Нина была уже не одна. С недавнего времени у нее появился новый приятель, фермер из Арденн. Я никогда его не видел и уже не помню, рассказывала ли она мне о нем в тот вечер. Она встречалась с ним по уик-эндам. Теперь она обсуждала со мной жатву, сбор клубники. Я называл ее приятеля «кабаном» и спрашивал: «Как дела у кабана?» В ответ она

смущенно улыбалась: деликатность не позволяла ей сказать, что подобное прозвище ее задевало. «Кабан — очень грубо и бестактно. Он совсем не такой». «Да ладно, — ответил я однажды, — это просто для удобства в разговоре, из-за Арденнских лесов, где полно кабанов. С таким же успехом я мог бы назвать его Верленом или Рембо». «Но ты этого не сделал». Нет, я этого не сделал.

Вечер 6 января 2015 был холодный и сырой. Оставив велосипед у входа на станцию «Жюссье», я спустился в метро и по 7-й линии проехал до станции «Мэри-д'Иври». В 18.53 Нина прислала мне эсэмэску, где сообщила, что ждет меня в бистро возле выхода из метро. Она сохранила эсэмэски, поэтому время названо точно, мои же послания пропали вместе с телефоном. Так как я опаздывал, она отправилась прямо к театру, и я нашел ее вместе с другом в баре, где они, сидя за маленьким круглым столиком, пили красное вино и закусывали мясом и сыром. Я заказал себе белого вина и съел несколько кусочков с мясной тарелки. «Ты сиял, — писала она мне спустя несколько месяцев, — ты только что узнал, что тебе предстоит ехать в Принстон и целый семестр преподавать там литературу». Я не помню ни своей радости по этому поводу, ни даже то, что я им об этом сказал.

Однако мейлы тех дней подтверждают: я только что узнал, что через несколько месяцев полечу в Принстон, и моя жизнь хотя бы на какое-то время изменится. Я ошибался, думая, что отец Нины преподавал в Принстоне. Университет расположен в часе езды от Нью-Йорка, где жила Габриэла, сражавшаяся с бесконечными семейными, административными и общественными проблемами. Так что я мог бы приехать к ней и благодаря этому проекту приступить не только к работе, но и начать

нашу новую совместную жизнь. Хотел ли я, чтобы именно такую историю разрушил теракт? Или я ждал, когда он меня растормошит? Не знаю.

Для меня Принстон являлся Университетом Эйнштейна и Оппенгеймера, а также первого великого переводчика романов Фолкнера Мориса Эдгара Куандро. Пользуясь случаем и ощущая при этом полнейшую неправомерность своих претензий, я собирался ехать туда, чтобы проанализировать несколько романов о латиноамериканских диктаторах. Отношение между литературой и насилием является тайной, которая на латиноамериканской земле принесла особенно тучный урожай, а все, чем богаты тамошняя история и страницы книг, увлекало меня как ребенка. Разбор текстов являлся единственным способом понять, могу ли я осмыслить все это уже в качестве взрослого. Даже если мысли взрослого редко оказываются на высоте видения — и страхов — ребенка.

До моего появления в театре режиссер успел рассказать целому классу учеников коллежа о пьесе Шекспира, которую будут давать, и о своем ремесле. Он объяснил им, что первоначально стал режиссером потому, что не чувствовал никакой склонности к какому-либо занятию.

Нина вспоминает, как я выглядел в тот вечер: «Ты был очень тепло одет, в вязаной шапочке, пуловере и теплой куртке». В первый раз я оставил свой велосипед возле входа на станцию «Жюссье». Она напоминала мне о детстве, о том времени, когда мать преподавала биохимию в одноименном университете — как раз в те годы, когда сделали фотографию отца Нины. Вдоль улицы Кювье иногда разливался запах хищных зверей. В лаборатории матери стояли ароматы химических реактивов.

Мне нравились любые запахи. Нравились запахи моего детства, особенно резкие, оставившие самые глубокие, зачастую единственные следы, которые у меня сохранились.

Через год, зимой 2016, я каждую пятницу по утрам ходил мимо желтоватого здания на улице Кювье и, двигаясь дальше по набережным вдоль стены Ботанического сада, снова обонял запашок хищников, направляясь к больничному комплексу Питье-Сальпетриер. Медленный путь восстановления сближался с дорогой детства, но никогда не совпадал с ней. Я ходил повидаться то с одним из хирургов, то с психологом, а иногда и с обоими поочередно, следуя заведенному больничному ритуалу, который отныне задает ритм моей жизни. Каким-то непостижимым образом они стали моими друзьями. Психолог сухо стучала каблуками, носила стрижку каре и обладала строгой и уверенной походкой, напоминая мне мать, когда та в ее возрасте работала в лаборатории. Когда психолог появлялась, я на несколько секунд переставал понимать, в какое время я живу и сколько мне лет. Психологи, умеющие нас слушать, возможно, обладают идеальным возрастом, поскольку заставляют нас вернуться в те годы, когда мы чувствовали себя героями в окружении героев, и, помогая нам вновь пережить и понять тот возраст, они предоставляют нам возможность расстаться с ним.

Я пробирался к ней в кабинет, находившийся в стоматологическом отделении, по полуподвальным коридорам с блеклыми стенами, постоянно теряясь среди бюстов и фотографий покойных хирургов и надеясь за каждой дверью обнаружить лабораторию, где моя мать и ее друзья готовили магический состав, то улучшающий мир, то погружающий в заб-